

С 32.

С. И. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

Р# 28738.

0041



МУЖЕСТВО
и
ДОБЛЕСТЬ



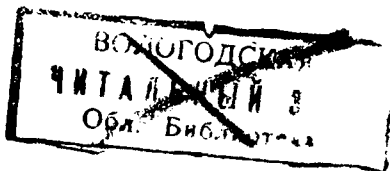
КНИГА
В СОХРАННОСТИ

С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

МУЖЕСТВО
И
ДОБЛЕСТЬ

Из эпопеи
«Севастопольская страда»

857688



ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1941

Редактор И. Ф. Трусов

* * *

Тираж 200 000 экз.

Подписано к печати 14/VII 1941 г.

А39674. Печ. л. 1¹/₁. Авт. л. 1,48.

В печ. л. 47 132 зн.

Цена 20 коп.

18-я тип.

треста «Полиграфкнига».

Москва, Шубинский пер., д. 10.

Зак. 805

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящей книжке даны отрывки из «Севастопольской страды» С. Сергеева-Ценского — трехтомной эпопеи, за которую автор награжден Сталинской премией первой степени.

Ярко изображенные С. Сергеевым-Ценским беззаветная любовь к родине, самоотверженность, мужество и доблесть славных защитников Севастополя, осажденного в 1854 году превосходящими силами противника, — высокие качества эти всегда были свойственны нашему свободолюбивому народу. Но никогда еще наш народ не был таким могучим, каким он является теперь, на двадцать четвертом году социалистической революции, — могучим своей сплоченностью, своей индустрией и своим вооружением. И это несокрушимое могущество его, помноженное на самоотверженность и героизм, разгромит и уничтожит нового врага — германских фашистских варваров, вероломно напавших на нашу священную землю.

ВЫЛАЗКА

...Недальновидный Николай I, при тупой самоуверенности своей, оставил Севастополь совершенно беззащитным с Южной стороны. И если гарнизон Севастополя под руководством Корнилова и Тотлебена начал наспех строить бастионы, то это была уже не первая и не вторая даже, а третья, последняя линия фортов в самой непосредственной близости от города и всех жизненных центров крепости и порта, что совершенно противоречило веками выработанной практике защиты крепостей, но отнести дальше линию бастионов не было уже возможности.

Между тем интервенты обкладывали Севастополь хотя и с одной только стороны, но соблюдая при этом все правила осадной войны. На сближение с бастионами русских они двигались быстро, руководимые опытным французским военным инженером Бизо.

Зигзаги их апрошей¹, сколько бы ни задерживал работу над ними твердый каменный грунт, шли неуклонно вперед, а в ложементы² их, параллельные линиям русской обороны, залегли их стрелки, борьба с которыми делала

¹ Апрош — буквально «подступ» — тип траншеи для прикрытия; строился зигзагообразно, по мере приближения к осажденному укреплению противника.

² Ложемент — окоп для прикрытия орудий и людей.

Вылазки неизбежными, как бы ни были по трофеям ничтожны их результаты.

Без этих вылазок обходилась редкая ночь, тем более что и сидевшие в передовых своих траншеях враги подымали по ночам ложные тревоги. Они не выходили при этом из траншей, они только делали вид, что идут на штурм, кричали «ура» после усиленной пальбы. Это «ура» подхватывалось, перекатываясь из траншеи в траншею, и подымало на ноги даже пехотные прикрытия на русских бастионах, так как рискованно все-таки было оставаться спокойным при таких воинственных криках.

Зато вылазки с русской стороны после подобных упражнений интервентов бывали особенно удачны.

Бывали вылазки совсем малыми командами при одном только офицере, но бывало и так, что на вылазку ходила целая рота охотников, сборная от разных частей. Эта вылазка в конце ноября была именно такого рода; в ней участвовали команды по несколько десятков человек в каждой: от двух пехотных полков и от экипажей флота. Командовать вылазкой был назначен, как часто случалось это и раньше, лейтенант Бирюлев...

Человеческий мозг устроен так, что непременно ищет законности и в совершенно случайном; однако как было бы объяснить, почему, например, храбрец лейтенант Троицкий, под ураганным огнем флота интервентов пробравшийся 5 октября на батарею № 10 и под тем же огнем, среди падавших роем около него бомб и ядер вернувшийся к Нахимову с докладом о положении батареи, уцелел тогда и сам

и не потерял ни одного из доверившихся ему пяти человек матросов, а через несколько дней после этой ужасной канонады погиб от совершенно случайной штуцерной пули в первой по времени вылазке.

Но так же трудно было понять, почему удачно сходили именно вот Бирюлеву все вылазки, в которых он участвовал. Однако матросы заметили эту особую удачливость лейтенанта и с ним,— главное, под его общей командой,— шли на вылазки гораздо охотнее, чем с кем-либо другим из своих офицеров, точно там, где был Бирюлев, успех был заранее обеспечен.

Бывают такие исключительные любимцы жизни, которых не могут не любить окружающие. Бирюлев был и красив собою, и ловок, и не способен теряться в минуту опасности, умел увлечь за собою и во-время отозвать своих охотников, знал, когда бросить в толпу матросов острое словцо, способное заставить их забыть про опасность, когда влить предельную строгость в слова команды.

Словом, он был что называется прекрасным командиром роты в бою, и, пожалуй, больше всего именно этим объяснялась его таинственная удачливость в вылазках.

В середине ноября, когда стрелки, лежавшие в неприятельских ложементях, большей частью зуавы, стали слишком заметно вредить своими выстрелами с недалеких дистанций по амбразурам и по каждой голове, неосторожно выставившейся над бруствером, пришлось в защиту от них устроить наскоро свои ложементы шагах в двадцати от неприятельских и посылать в них своих стрелков. Они не назначались, они вызывались охотниками сами. Сначала это были пластуны, потом матросы и пехотинцы. Францу-

зы своих стрелков в ложементх называли *enfants perdus* или *infernaux* — сорвиголовами, головорезами, чертями, — русские же охотники особых никаких названий не получили. Они знали только, что половина из них, отдежуривших в ложементх свой срок, не дожидется смены и не вернется назад. Ложементы представляли собой ряд мелких, только лечь, ямок, в которых голова стрелка едва прикрывалась выкопанной саперной лопаткой землей, и над бедовой головой каждого охотника то и дело пели штуцерные пули. Малейшая неосторожность — и пуля вливалась в голову или пробивала грудь около ключицы. В каждой ямке лежал только один охотник, и действовать ему приходилось на свой страх и риск, к чему никто не приучал в мирное время русского солдата. Какое бы ни проявлялось в это время геройство, оно оставалось совершенно неизвестным, какая бы ни проявлялась тем или иным из охотников личная храбрость, она проявлялась только наедине с собой. И все-таки на место убитых или тяжело раненных шли ежедневно в ложементы новые и новые охотники: недостатка в храбрецах не было.

Тем более не могло его быть около такого удалого командира, каким оказался Бирюлев. И первым из этих храбрецов был матрос Кошка.

На батарее капитан-лейтенанта Перекомского, куда попал Кошка в начале осады, известно было о нем только то, что он любил выпить, а под хорошую закуску сколько угодно, но никто и не подозревал в этом неказистом с виду матросе такого удальца, каким он проявил себя вдруг, когда убили в одной из первых вылазок бывшего рядом с ним его товарища, а на дру-

гой день тело того враги выставили с наружной стороны бруствера, подперев, чтобы держалось стоя.

Потемнел Кошка, когда разглядел тело старинного товарища, выставленное точно на позор.

— Дозвольте сходить его выручить, ваше вскбродь!— обратился он к Перекомскому.

Тот удивился,— не понял даже.

— Как это так—сходить выручить? С ума сошел, что ли? Того убили в деле, а тебе захотелось, чтоб тебя ухлопали попусту?!

— Не ухлопают авось, ваше вскбродь! Дозвольте сходить—ведь глум над хорошим матросом производят...

— Он уже не матрос теперь, а бездыханное тело: какой же для бездыханного может быть глум?.. Впрочем, я доложу, пожалуй, начальнику отделения. Если он разрешит, то это уж будет его дело, а я считаю такой риск совершенно лишним.

Однако начальник 3-го отделения оборонительной линии, контр-адмирал Панфилов, совершенно неожиданно для Перекомского посмотрел на это иначе. Он согласился с Кошкой, что глумление над трупом павшего бойца надобно прекратить, только спросил Кошку, как же именно думает он выкрасть труп.

— Так что подползу до него ночью, а потом тем же ходом с ним обратно, ваше превосходительство...

Кошке казалось, что адмирал только время проводит, спрашивая о том, что и без вопросов вполне ясно и понятно, но адмирал сказал:

— Ночью ты можешь с принятого направления сбиться и совсем не туда попасть.

— Есть «не туда попасть», ваше превосходительство, а только я полагаю так уж, чтоб ближе к свету ползти начать...

— Тогда тебя разглядят и подстрелят, как зайца!

— Я, ваше превосходительство, хочу мешок грязный что ни на есть на шинелю надеть, чтоб от земли не различили, а кроме прочего, и казенной амуниции чтоб порчи не произвести...

— Мешок?.. Ну, если хочешь быть ты Кошкой в мешке,— улыбнулся Панфилов,— тогда валяй, ползи.

— Есть «валяй-ползи», ваше превосходительство!— радостно отозвался Кошка и повернулся налево кругом.

Он сделал так, как решил: напялил на себя грязный мешок и, дождавшись конца ночи, сначала пошел пригнувшись, потом пополз...

Довольно далеко пришлось ползти Кошке, рассвет же начался непредвиденно быстро, так как совершенно чистое оказалось в это утро небо на востоке. Кошка видел труп товарища своего,— цель его действий, но разглядел также не дальше как в двадцати шагах от него серую фигуру часового около входа в траншею и понял, что ползти вперед уже нельзя.

Однако возвращаться назад с пустыми руками казалось еще более невозможным. Он огляделся и заметил в стороне остаток каменной стенки,— была тут раньше садовая ограда, или стояло какое строение,— он подполз к этим нескольким камням и приник к земле.

Ружья с собою он не взял, так как обе руки должны были быть свободными, чтобы тащить тело; хлеба тоже не взял, потому что думал вернуться утром. А между тем развернулся ясный день, началась обычная перестрелка... Кош-

ка прикип за камнями, в которые звучно стучались иногда свои же русские пули, и не было никогда более длинного дня за всю его жизнь и большего простора для мрачных мыслей.

Утром справлялся у Перекомского Панфилов, сам зайдя к нему на батарею,—вернулся ли Кошка; Перекомский с сознанием правоты своих соображений ответил, что он, конечно, погиб совершенно зря, что нечего было и думать, чтобы явно сумасбродная затея его удалась.

Панфилов же, досадуя внутренне на себя за то, что разрешил Кошке эту затею, проговорил смущенно:

— Жаль малого, разумеется, но что же делать: ведь и допускать явного глумления над трупами наших молодцов тоже нельзя... Побуждения у него были хорошие, и осудить их я не мог.

Труп матроса продолжал, однако, торчать на прежнем месте весь этот день, и всем уже, не только Кошке, стало казаться возмутительным такое издевательство над павшим.

Но вечером, когда как следует стемнело, раздалась вдруг весьма оживленная и мало понятная по своим причинам и целям ружейная пальба со стороны неприятеля, и вдруг на батарее появился усталый, запыхавшийся, но довольный Кошка, притащивший на спине тело товарища.

Оказалось, по его рассказу, что он дождался, когда у неприятеля в траншеях началась смена людей, тогда-то и пополз он к трупу, подставил под него спину, прижал к себе его руки и проворно побежал к своей батарее. Он рассчитывал на то, что занятые сменой не обратят на него внимания, и действительно успел

пробежать полдороги, когда в него начали стрелять. Но тут уже его ноша послужила ему надежным прикрытием, приняв в себя пули, которые иначе были бы смертельны для Кошки.

Панфилов представил его за отвагу к георгию.

В другой раз вздумалось Кошке непременно поймать красивую белую верховую лошадь, которая вырвалась почему-то из неприятельского лагеря оседланная, может быть, сбросившая с себя седока, обогнула Зеленую гору и остановилась как раз посредине между батареей Перекомского и батареей противника, поворачивая точеную тонкую голову на гибкой шее то в сторону своих, то в сторону русских.

— Эх, лошадка! Вот это так красота!— восхищался Кошка и обратился к командиру батареи:— Дозвольте коня этого на абордаж взять!

— Конь-то стоящий— это правда,— сказал Перекомский,— и я бы не прочь тебе это дозволить, да ведь те не дозволят.

— Дозволят, ваше вскбродь! Я как будто к ним дезертером буду бежать, а по мне чтобы наши холостыми зарядами стреляли,— вот и вполне может выйти дело!

Глаза у Кошки так и горели, казалось, и не разреши ему даже, он все-таки побежит за лошадью,— да и лошадь была бы дорогим призом.

Перекомский вспомнил историю с трупом матроса и махнул рукой в знак согласия, приказав тут же открыть по Кошке пальбу холостыми.

Кошка же бросился к лошади со всех ног.

Интервенты были сбиты с толку поднявшейся по нему частой пальбой; ясно было для них, что кто-то перебегает к ним из русской батареи; они даже сняли шапки и махали ими привет-

ственно. Понятно им было и то, что дезертир направляется к лошади, чтобы вскочить на нее и мчаться к ним; четыре ноги резвого скакуна, конечно, куда надежнее своих двух.

И Кошка добежал беспрепятственно до белой лошади, точно только его и поджидавшей, вскочил на нее и пустился на ней обратно. Конечно, горячий скакун проделал этот обратный для Кошки путь гораздо быстрее, чем даже могли сообразить враги, что такое происходит перед их глазами; они открыли стрельбу с большим опозданием: Кошка уже успел ворваться в укрепление.

Он ходил обыкновенно во все вылазки, и его щадили пули, штыки, сабли врагов. Сам же он часто приносил на себе раненых французов или два-три штуцера их. Когда же вылазок не было и когда ночи были темные, бывало, подбирался он к неприятельским траншеям один и непременно притаскивал оттуда штуцер — вещь, ценную в обиходе русского солдата. Однажды, когда добыть штуцера никак не удалось, он притащил попавшиеся под руки носилки, справедливо полагая, что и носилки пригодятся. Главною же целью этих одиночных вылазок Кошки было поднять кутерьму в стане союзников, и пальбу, которая обыкновенно, открывшись по нем, Кошке, перекидывалась по всей линии осаждавших, заставляя их изводить попусту множество зарядов. Кошка же, добравшись к своим со своей добычей, ухмылялся бедо и говорил:

— Вот как я их распатронил, чертей!.. Неужто это и в самом деле вся их братия по мне одному так стараются?.. Чудное это дело, война! Один человек, значит может всех союзников осоюзить!

Иногда он притаскивал одеяла, которые накидывали на себя поверх плащей иноземцы наподобие пледов, но самой ценной его добычей были все-таки штуцера.

И во время вылазок большими ли, малыми ли партиями всем хотелось набрать у противника как можно больше штуцеров, которые, кстати сказать, всячески утаивались от высшего начальства, а оставлялись в той части, какая их забрала, был ли это пластунский батальон, пехотный полк или флотский экипаж, хотя все и знали предписание — сдавать добытые с боя штуцера для распределения их по усмотрению самого начальника гарнизона.

Так велика была у солдат, казаков, матросов досада на то, что их гладкоствольные ружья никуда не годились по сравнению с дальнобойными штуцерами, причинявшими им гораздо больше ущерба, чем все орудия союзников.

Правда, к этому времени Баумгартен, герой Четати, пришел к мысли переливать русские круглые пули в конические, по образцу пуль Минье, то есть с ушками и стерженьками. Такие пули даже при гладком стволе ружья могли лететь, как оказалось, вдвое дальше, чем круглые, но все-таки шестьсот шагов было далеко не то, что полторы тысячи, а кроме того, переливку пуль для всей армии было не так легко и просто наладить, как для одного Тобольского полка, в котором ввел это Баумгартен.

Бирюлев не мог, конечно, знать солдат Охотского и Волынского полка, которые в этот раз шли с ним на вылазку: раньше были у него в командах охотники других полков, но своих матросов он знал.

Кроме Кошки, неизменно во все вылазки с ним ходил спокойный и рассудительный, пожилой уже матрос Игнат Шевченко, широкогрудый человек большой физической силы, которую, как иные силачи, почему-то стеснялся показывать в мирной обстановке. Только по тому, как его нагружали ранеными пленными или штуцерами, когда возвращались назад, можно было судить, что у него за безотказная крепость мышц. Матросы звали его «воронежским битюгом»,— есть такая порода лошадей-тяжеловозов. В штыковом бою, какой бывал обыкновенно в траншеях интервентов при вылазке, он действовал, как таран,— за ним шли другие. Раза четыре он наткнулся сам на штыки неприятеля, но раны были мелкие, легкие, и после перевязки он снова появлялся в строю и снова шел в охотники на вылазки.

При этом само собой повелось как-то так, что он будто бы взял на себя совершенно непрощенно роль какого-то дядьки при молодом, горячем лейтенанте. Он даже говорил ему ласково-ворчливо, когда подбирались они к неприятельским ложементам:

— Идите себе опозаду, ваше благородие. Нехай уж мы сами передом пойдём, а вы только за порядком глядите.

Бирюлев видел, что ворчит старый матрос дружески,— заботясь о нем, и на такие замечания, конечно, не обижался. Он любил этого «битюга», который однажды самолично приволок с вылазки вполне исправную мортиру не крупного калибра. И когда в густых сумерках он принимал команду матросов, то прежде всего спросил: «Есть Шевченко?» — «Есть, ваше благородие!» — отозвался в пяти шагах от него знакомый грудной голос, и этого было доста-

точно лейтенанту, чтобы почувствовать себя перед новым ночным делом, как всегда, уверенно и спокойно.

Но рядом с Шевченко были тут и другие, испытанные в лихих вылазках матросы. Был унтер-офицер Рыбаков, известный тем, что захватил однажды в плен полковника, за что должен был получить крест; был другой унтер-офицер, Кузменков, староватый уже и сильно лысый со лба, но стремительный и находчивый в деле; это он ходил с лейтенантом Троицким выбивать французов из их окопов и все не мог себе простить, как это случилось, что он оставил тогда тело своего начальника в неприятельской траншее. Был матрос Елисеев — шутник и балагур, который не способен был, кажется, не сыпать шутками и во время штыковой схватки. Был Болотников, который соперничал с Кошкой по части разных военных хитростей и выдумок, цель которых была озадачить противника, чтобы тут же воспользоваться этим. Он был ловко скроенный малый, лихо, с заломом на правый бок носивший свою бескозырку...

Кроме матросов и солдат, которых в общем было двести пятьдесят человек, в эту вылазку шло и восемьдесят рабочих с лопатами, которыми должны они были повернуть в сторону врага его ложементы против третьего бастиона, а что ложементы эти будут отбиты, в этом, конечно, никто не сомневался.

Начались уже осенние заморозки; ночь ожидалась холодная, но зато землю затянуло, не стало сильно надоевшей всем грязи; шаги людей были нетрудные и неслышные...

Однако для вылазки все-таки было рано, — это знал по опыту Бирюлев. Должна была после полуночи взойти ущербная луна, а при ее

свете, хотя бы и сквозь тучи, кругом обложившие небо, можно гораздо лучше провести вылазку, чем в темноте, хотя местность перед бастионом и была достаточно знакома.

Местность эту видели каждый день, так как собирались команды охотников и рабочих на батарее Перекомского, где была землянка Бирюлева. Матросы были тоже с этой батареей, как Кошка, Шевченко, Рыбаков, Болотников, или с третьего бастиона, а охотцы и волынцы из прикрытия этой батареей.

Волынцами командовал юный прапорщик Семеновский, охотцами, которых было вдвое больше, поручик Токарев, но ни тот, ни другой ни разу до этого в вылазки не ходили. Бирюлев прошел вдоль шеренг проверить, все ли в порядке у людей, довольно ли патронов, у всех ли рабочих есть кирки и лопаты, сколько заготовлено носилок для раненых... Сказал солдатам, что полагалось говорить перед делом: какие именно ложементы приказано начальством занять в эту ночь, какой взвод должен в них залечь потом и что делать; как рабочие должны переделать ложементы, чтобы смотрели они в сторону неприятеля, чтобы в них для ружей были бойницы, чтобы вполне укрывали они стрелков,— и закончил, как обычно принято заканчивать все подобные обращения к солдатам:

— Держать строй, ребята! Локоть к локтю, плечо к плечу! Иначе перебьют, как перепелок. Смотри!.. А если я буду убит, слушать команду поручика Токарева. А если с его благородием, поручиком Токаревым, что случится, так что уж не в силах он будет командовать, то его замещает прапорщик Семеновский...

В небе было темно, вблизи расплывались очертания даже знакомых лиц, а шагах в два-

дцати совсем уж нельзя было ничего различить: такое освещение для вылазки не подходило, поэтому Бирюлев добавил:

— Пока не взойдет месяц, стой себе, ребята, вольно: у кого есть тютюн, кури, кто не выспался днем, приткнись где-нибудь и спи... Спишь — меньше грешешь, а встанешь — свежее будешь... Шуму лишнего не делай, огня неприятелю не показывай... Когда приказано будет строиться, живо стройся!

Бирюлев, разрешая солдатам поспать перед вылазкой, сам думал только о сне, так как всю предыдущую ночь пришлось ему простоять на батарее, а днем заснуть тоже не удалось. Он забрался в свою землянку, прилег там одетый, как был, и заснул сразу и крепко.

Адъютант начальника гарнизона Гроттус добрался до третьего бастиона как раз в то время, когда Бирюлев спал, и, по новости дела, очень был этим озадачен, так что уж самому адмиралу Панфилову пришлось объяснять адъютанту, что Бирюлев свое дело знает и удобного для вылазки времени не проспит.

Бирюлев же, ложась спать, приказал Шевченко разбудить его часа через два, когда, по его расчету, должна была подняться луна.

Луна поднялась, наконец, хотя и ущербленная, но огромная, и тучи сдвинулись к противоположной от нее стороне горизонта.

Шевченко растолкал вестового лейтенанта, и с трудом удалось им вдвоем пробиться мертвым сном спавшего Бирюлева.

Но когда он вышел из землянки, то зажмурил глаза от света: столько лилось этого света от тупо уставившейся в землю однобокой луны, что белые амуничные ремни, перекрещенные на богатырской груди Шевченко, сияли, как днем,

искрились штыки солдат и бляхи их поясов, и девичьи глаза юного Семенского горели будто огнем вдохновения.

— Вот досада какая!— потягиваясь, сказал Бирюлев.— Куда же ты вымел все тучи, Шевченко? Ведь теперь мы попали из огня в полымя!

— Ночь еще долгая, ваше благородие,— утешил его Шевченко.— Може, еще захмарит.

— Хорошо, как захмарит, а если нет?

Он вынул свои часы, заводившиеся без ключика; было около двух. Ждать еще было, пожалуй, непростительно, итти теперь же было нельзя. Впрочем, на луну надвигалось тонкое белесое облако...

Бирюлев приказал командам собраться и построиться, и минут через десять все снова стояли в шеренгах, так что Гротгус мог наконец передать, что начальник гарнизона благословляет всех и желает полной удачи во славу русского оружия.

Однако и после этих торжественных слов Бирюлев все-таки не решался вести свою роту, и Панфилов с ним вполне согласился.

Но вот через полчаса, не меньше, к тому тонкому белесому облачку, которое проскользнуло над луною, потянулись другие, погуще; блики на штыках и бляхах померкли, поручик Токарев, передернув от заползающего под шинель холода плечами, сказал Бирюлеву:

— А знаете, кажется, даже вот-вот снежок пойдет.

— Если и в самом деле, было бы как нельзя лучше,— повеселел Бирюлев и, когда, действительно, закружились снежинки, scomандовал вполголоса:— На молитву! Шапки долой!

Сняли фуражки, перекрестились три раза...

— На-а-кройсь!

Потом еще две-три обычных, но необычно отозвавшихся у всех в сердцах команды, и люди пошли во взводной колонне из укрепления в поле.

Все старались идти отнюдь не так, как их учили ходить в мирное время, звонко отбивая шаг, а как можно легче и неслышной ступая, но часовые, лежавшие в секрете впереди неприятельских ложементов, заметили темную движущуюся на них массу. Можно было надеяться, что часовые там опят, однако вышло иначе. Один за другим раздались три гулких выстрела... Потом сигнальная ракета взвилась и рассыпалась красными огоньками в небе, за ней другая... И вот, по всей линии противника началась оживленная пальба.

Панфилов, который стоял с Гротгусом, выжидая, как пойдет вылазка, сказал недовольно:

— Вот видите, как иногда бывает!.. Неудача! Завидели, проклятые... Не дали нашим и пятидесяти шагов отойти.

— И что же придется им сделать в таком случае?— обеспокоился Гротгус.

— Что?.. Просто надобно отозвать их назад, чтобы не перебили напрасно,— вот и все, что придется сделать.

И Панфилов, действительно, послал к Бирюлеву вдогонку ординарца унтер-офицера, правда, не с приказом, а только с разрешением вернуться.

Ординарец добежал, запыхавшись. Бирюлев остановил роту. Выслушал посланца адмирала. Понял, что от него теперь зависело, вести ли людей вперед или назад. И стало как-то неловко поворачивать их обратно, командовать «налево кругом». Однако он знал, конечно, и то, что многих из них стережет уже там, впереди,

смерть или увечье, поэтому он обратился вполголоса к передним:

— Назад или вперед итти, братцы?

— Вперед!— тут же ответил ему Кошка.

— Вот Кошка говорит, что лучше вперед, а вы как?

— Ночью все кошки серые!— отозвался весело Елисеев, а кто-то дальше, из рядов пехоты, подхватил:

— Все мы — кошки!

И потом пошло по рядам, как общий выдох.

— Все — кошки!

— Ну, раз все — кошки, значит, вперед! Так и передай его превосходительству,— обратился Бирюлев к ординарцу.

Как раз в это время и снег пошел гуще, и пальба затихла, только трубили в рожки горнисты в траншеях да кричали часовые.

— Вперед, ма-арш!— скомандовал Бирюлев.

Итти нужно было в сторону — к французам, которые энергично придвигались к четвертому бастиону и вели к нему мины с явной целью его взорвать.

Рота Бирюлева шла уверенно и с подъемом, тем более что не было пока в ней никаких потерь, несмотря на пальбу.

Обогнули острый холмик, прозванный Сахарной головою; недалеко уж должны были, по расчетам бывалых в вылазках матросов, начаться французские ложементы на взгорье, однако отрубили горнисты, откричали часовые,— настала какая-то подозрительная, насторожившаяся тишина...

Но вот в тишине этой вдруг раздался резкий и громкий окрик:

— Qui vive? ¹

Задние взводы замедлили было шаг, но передние быстро шли вперед за Бирюлевым, подтянулись и задние.

— Qui vive?

Рота шла.

— Qui vive?— встревоженно громко.

— Russes! ²— крикнул Бирюлев, и тут же вслед за этим:— Ура-а!

И кинулись со штыками наперевес на ложементы.

Enfants perdus, сидевшие в ложементах, успели дать только один залп, торопливый, нестройный, от которого упало только трое охотцев. Их проворно с рук на руки передали в тыл на носилки, присланные Панфиловым с бастиона. Сквозь крутившийся снег было видно, как зуавы бежали, пригибаясь к земле, в траншеи.

Едва они добежали, оттуда поднялась пальба.

Нельзя было терять ни секунды. Бирюлев только крикнул: «Рабочие, сюда!» — только махнул рукой на ложементы саперному унтер-офицеру, а сам, почему-то непроизвольно стараясь не касаться на бегу земли каблуками, побежал руководить боем дальше, к траншее, куда, опередив его, подбегали уже матросы и солдаты.

Он думал именно этими словами: «руководить боем», хотя и знал уже по опыту, что чуть только начнется свалка в траншее, руководить ею никак нельзя.

А свалка в траншее уже началась: одиночные выстрелы, крики на двух языках, хрипы, стоны, лязг железа о железо, треск, гул,— и через

¹ Кто идет?

² Русские.

три-четыре минуты кто из зуавов не успел своевременно выбраться из траншеи и бежать выше, в другую такую же, был заколот.

Но зуавы были ловкие и крепкие люди и яростно защищали свою жизнь и свой окоп. Только трое захвачены были здесь в плен: один раненый офицер и два солдата. Зато одним из первых погиб так жаждавший боевых подвигов юноша с девичьими глазами — прапорщик Семенский. Некрупный телом и тонкий, он был буквально поднят на штыки и брошен на вал окопа. Волынцы вынесли было его на линию отбитых окопов, где старательно и споро перебрасывали с места на место почти белую от известковых камней, гулкую землю рабочие, но он недолго лежал тут живым. Рабочие сняли с ложементов и оттащили к сторонке восемнадцать тел заколотых зуавов: девятнадцатым недалеко от них лег бывший прапорщик Семенский...

Лунный свет ярок только вблизи, — вдали же он причудлив. Он способен очеловечить все кусты и все крупные камни кругом, особенно тогда, когда ошеломлен мозг внезапностью чужого нападения и своей оплошностью или неудачей.

Горнисты трубили тревогу, ракеты взвивались и лопались где-то в глубине французских позиций, точно напала на них не одна рота, а по крайней мере дивизия. Конечно, к передовым траншеям теперь спешили уже резервы.

Но пока подтягивались эти резервы, вторая траншея начала такую частую стрельбу, что поручик Токарев обеспокоенно подскочил к Бирюлеву:

— Прикажете унять их, Николай Алексеич? Несем потери!

— Ура-а!— крикнул во весь голос вместо ответа Бирюлев.

И тут же общее дружное «ура» и такой же страшный для сидящих в окопе стремительный дробный стук бегущих по твердой земле нескольких сотен ног, и казалось, что через минуту — другую все будет кончено здесь, как и в первом окопе; но раздался пушечный выстрел, и картечь повалила сразу человек десять.

Остановить атаку, впрочем, не мог этот выстрел,— слишком яростен был разбег,— и другого выстрела не пришлось уже сделать артиллеристам: их смяли. Но свалка в этой траншее была ожесточеннее, чем в первой. Тут оказалось больше защитников, может быть, успели подойти из других траншей, однако очистили и эту траншею; человек около двадцати отправили отсюда своих раненых в тыл, к носилкам, а с ними вместе еще двух подбитых французских офицеров и пятерых солдат.

Бирюлев замешкался было при отправке раненых, но Шевченко, все время державшийся вблизи него, дернул его за рукав шинели:

— Ваше благородие, глядите сюда, то не обходят ли нас французы?

Бирюлев поглядел вправо,— действительно, тянулась вниз какая-то плотная масса.

— Барабанщик! Где барабанщик? Бей отбой!— закричал он.

Ударил барабанщик, затрубил горнист... Рота спешно строилась во взводную колонну для отступления, и тут, на ходу, подобрался к Бирюлеву Рыбаков, чтобы сказать:

— Ваше благородие, Кошку ранили, а он сглупа сказываться раненым не хочет...

— Кошка ранен?— Это показалось почти сверхъестественным,— Где же он? Лежит?

— Идет, да ведь и кровь из него хлещет... Кровью изойти может.

— Чем ранен? Пулей?

— Штыком...

А тем временем траншея, только что очищенная, вновь, видимо, наполнилась набежавшими из тыла зуавами, и запели оттуда пули. Но отстреливаться было уж некогда, беспокоило то, что могут напасть на рабочих.

Миновали первую траншею. Стало яснее видно, что французов, затеявших обход, немного — не больше ста человек.

— А ну, братцы, наляжь! — крикнул Бирюлев. — Мы их в плен захватим!

Однако там заиграл трубач, и французы быстро повернули в сторону и исчезли: гнаться за ними совсем не входило в задачу вылазки. Главное было перестроить ложементы. Работа же эта шла полным ходом.

— Кошка? Где Кошка? — вспомнил Бирюлев.

— Есть, ваше благородие! — отозвался Кошка.

— Ты что, ранен?

— Пустяк! — запекается, — недовольно ответил Кошка.

— Куда же ранен?

— Просто сказать, чуть скользнуло вот сюда, в левый бок...

— Перевязаться надо!

— Есть, ваше благородие, «перевязаться»... Домой придем — перевяжут.

Между тем пули из траншеи, которую только что очистили, сыпались чаще и чаще, и Кузменков сказал Бирюлеву:

— Нейдется проклятым! Придется, кажись, пойти шугануть их подальше! Дозвольте, ваше благородие, я со взводом пойду!

— Взвода мало, братец... Итти, так всем.

И в третий раз повел в штыки Бирюлев всю роту.

Однако вторая траншея была занята немногими стрелками: можно было насчитать только человек пятнадцать, вскочивших на насыпь, чтобы встретить наступающих залпом и бежать в третий окоп.

Бирюлев с обнаженной саблей шел впереди роты и только что повернулся к ней лицом, чтобы, выждав момент, крикнуть «ура», как Шевченко, не спускавший глаз с тех, на насыпи, вырвался из ряда и метнулся вперед: он заметил, что большая часть ружей французов направлена на его командира. Он только успел выкрикнуть: «Ваше...» — как в одно и то же время раздались и залп зуавов и «ура» Бирюлева, подхваченное всеми... всеми, кроме Шевченки, который рухнул, пронизанный несколькими пулями...

Обернувшийся Бирюлев споткнулся о ноги убитого и упал на колени. Кругом его бежали в атаку, штыки наперевес, и билось в уши со всех сторон нестройное: «А-а-а...» Бирюлев припоминал этих зуавов на насыпи, и то, как метнулся вдруг вперед, крикнув «Ваше...», этот простодушный богатырь, державшийся с ним всегда, как дядька, и то, как он почувствовал, когда кричал «ура», несколько тупых ударов в спину от шеи до поясницы и понял, что Шевченко, чуть только увидел опасность, какая ему угрожала, кинулся его спасать своим могучим телом, и пули, предназначенные ему, принял своею грудью... И только пройдя насквозь через его грудь, эти пули, уже безвредные, шлепнулись в его спину, как мелкие камешки!

— Шевченко!.. Шевченко! Друг!.. — кричал Бирюлев, тормоша его круглое плечо, но глаза

Шевченко уже закатились, тело вздрогнуло в последний раз и легло спокойно.

Заметив, что упал лейтенант, около него остался Болотников. Он тоже видел, что сделал Шевченко, и понял его, как понимал и тоску по нем лейтенанта; но он заметил, что рота пронеслась ураганом мимо второй траншеи в третью, и обеспокоился.

— Ваше благородие, а ваше благородие! — взял он за руку Бирюлева. — Теперь уже не вернешь его, — воля божья... А наши уж в третью траншею прочесались, кабы их там не прищучили!

Бирюлев встал. Действительно, свалка гремела уже далеко. Он побежал вперед, как и прежде, на носках, бросая на бегу Болотникову:

— Не забудь, где Шевченко лежит!.. Потом заберем его!..

Смерть Шевченки его ожесточила. Он бежал отомстить за него французам. Но с зуавами, сидевшими в третьей траншее, все уже было кончено, пока добежал он. Оставалось только собирать своих во взводы и подбирать раненых, чтобы идти обратно.

И взводы уже построились, раненых вынесли, когда со стороны траншеи раздалась резкая команда:

— En avant! ¹.

Обернулся Бирюлев: высокий офицер стоял на насыпи с пистолетами в обеих руках, но те, кому он командовал, не шли вперед, — их не было видно. Была ли это небольшая кучка, добежавшая из резерва, или один только этот офицер, бегством спасшийся из обреченной траншеи и теперь захотевший показать свою картин-

¹ Вперед!

ную храбрость,— осталось неизвестным. Он выстрелил из обоих пистолетов сразу, и нужно же было случиться так, что одна пуля попала прямо в выпуклый лоб Болотникова, так лихо всегда державший бескозырку. Матрос был убит наповал, офицер же, француз, исчез... За ним вдогонку бросился сам Бирюлев с целым взводом, но его не догнали, даже просто не знали, куда бежать, чтобы его догнать: он точно затем только и выскочил, чтобы убить бравого Болотникова, а потом провалиться сквозь землю.

Возвращаясь, несли тела и прапорщика Семенского, и Болотникова, и очень тяжелое тело Шевченки... Несли и все штуцера, какие нашли в траншеях.

Тем временем ложементы были перевернуты, в них оставили взвод для их защиты. Цель вылазки была достигнута: ложементы против четвертого бастиона оказались теперь выдвинуты шагов на тридцать вперед. Как будто совсем немного, но эти тридцать шагов дорого обошлись французам, потерявшим не менее ста человек одними убитыми, десять пленными, из них три офицера. В роте Бирюлева убитых нашлось семь человек, раненых тридцать четыре.

ОДИН ИЗ РЯДОВЫХ

Севастопольский порт, конечно, только казался неистощимым, но хранившиеся в нем, например, запасы пороха давно уже иссякли, нехватало также и снарядов, и приказано было отвечать одним выстрелом на два неприятельских; нехватало и многого другого в материальной части; но было в Севастополе то, что дороже и

важнее иных запасов: несокрушимый дух войск. Это обстоятельство не учтено было политиками неприятеля, когда они начинали войну с Россией. Они знали императора Николая, но разве имели они понятие о простом русском солдате, рядовом девятой роты Камчатского егерского полка Егоре Мартышине?

Во время Дунайской кампании в одном сражении было довольно много раненых, и небольшой перевязочный пункт переполнился до отказа. Тут заметили невысокого и немолодого солдата, который раза три подходил к дверям и заглядывал в операционную, но потом однообразно махал рукою и уходил. Лицо его было в крови, но серые усталые глаза смотрели сквозь это кровавое кружево спокойно.

Когда работа в операционной подходила уже к концу, один свободный врач вспомнил о нем и послал за ним санитаря вдогонку, как только он, еще раз заглянув в дверь, повернулся снова назад. Санитар привел раненого.

— Что у тебя такое, дружище?— спросил его врач.

Солдат только показал на свою щеку и открыл рот: говорить он не мог. Оказалось, что неприятельская пуля пробила ему щеку и застряла в языке, отчего язык сильно распух и перестал ворочаться.

— Как же это пуля тебе в рот попала?— спросил врач, и за раненого ответил, улыбаясь, другой солдат, которому только что перевязали руку и ногу:

— Да ведь он, ваше благородие, песенник у нас... Шли, значит, в атаку, он и запой:

Эх, зачем было город городить
Да зачем было капусту садить...

Известно, песня веселая,— под нее людям бойчее идетя. А басурманы, конечное дело, по нас залоп дали...

Когда пулю вырезали и опухоль языка несколько опала, спросили раненого песенника, почему он раза три подходил к дверям перевязочного и все уходил обратно.

— Да ведь стыдно было,— с усилием ответил тот.— У других — раны, а у меня — что? Я и подождать мог.

Этот солдат был Егор Мартышин.

Лежали камчатцы-охотники в ложементх перед своим многотрудным люнетом в начале марта. Шагах в двухстах от них в подобных же ложементх лежали французы... День стоял теплый. Сильно пахло свежей травой и парной землей... Перестрелка шла вяло, так как незачем было тратить заряды ни тем, ни другим: ложементы были устроены хорошо: противники за насыпями не могли друг друга прощупать пулями.

Но вдруг какому-то зайцу вздумалось промчаться между ложементами во всю прыть своих ног, и один солдат-камчатец его заметил, прицелился и выстрелил. Заяц подпрыгнул на месте так высоко, что всем стало видно его из-за козырьков ложементов, и, грохнувшись о землю, лег неподвижно.

Солдат, его подстреливший, встал со штуцером в руке и снял фуражку. Это был у него как бы некий парламентарский жест, обращенный к французским стрелкам, дескать: «Разрешите, братцы, зайчика подобрать, так как, выходит, это ведь не то чтобы война, а чистая охота...» И жест этот был понят как нельзя лучше.

Своеобразное перемирие установилось вдруг между стрелками с той и с другой стороны, по-

ка камчатец добежал до зайца, взял его за задние ноги, показал французам и неторопливо побежал на свое место в ложементы, из-за которых высунулось поглядеть на него много улыбающихся лиц.

Только когда улегся он снова рядом со своей добычей, раздалось несколько выстрелов со стороны французов, но больше для проформы.

Этот солдат-камчатец был тот же Егор Мартышин.

— Как же ты так отчаялся подняться, Мартышин?— спрашивали его потом одноклассники.

— Да что же я?.. Конечно, само собой, подумал я тогда: «Не оголтелый же он, француз, должен понять, думаю, что и я бы в него не стрелял в таком разе: ведь я не ему вред доставил, а только зайцу... А раз если заяц, выходит, стал мой, то должен я его забрать или нет?»...

Назначен был командиром батальона в Камчатский полк на вакансию майор из другого полка и в первый же день накричал на одного солдата своего батальона. После выяснилось, что совсем незачем было на него кричать, но майор был человек горячий, и перестрелка на Малаховом, где это было до постройки еще Камчатского люнета, велась в то время жаркая.

Однако не прошло и пяти минут, как тот же самый обруганный майором солдат бросился на него со зверской, как ему показалось, рожей, сгреб в охапку, свалил подножкой и прижал к земле. Он ворочался, пытаясь сбросить с себя солдата, но тот держал его крепко, глядел страшно и бормотал что-то...

Вдруг оглушительный раздался взрыв рядом, повалил душный дым, полетели осколки: разорвался большой снаряд.

Тогда солдат встал сам и потянул за рукав шинели своего начальника:

— Извольте подниматься, вашсокбродь: лопнула!

Только теперь догадался майор, что солдат не из мести за окрик бросился на него, а просто спасал его от незамеченной им бомбы, которая упала, вертелась и шипела рядом с ним.

— Как твоя фамилия?— спросил майор, поднявшись.

— Девятой роты рядовой Мартышин Егор, вашсокбродь! — ответил солдат.

— Что же это ты, ничего мне не говоря, прямо на меня кидаешься и подножку и рожу зверскую сделал, а?

— По недостатку время, вашсокбродь!

Майор пригляделся к своему спасителю, обнял его, вынул потом кошелек, достал старый серебряный рубль времен Екатерины:

— Ну вот, спрячь на память, а к медали тебя при первом случае представлю.

— Покорнейше благодарим, вашсокбродь!— как бы и не за себя одного, а за всю девятую свою роту ответил Мартышин.

А в середине марта он не уберется от французского ядра сам,— правда, ядро это залетело в траншею Камчатки и нашло его там среди многих других.

Он как раз полез в это время в левый карман шинели за табачком, ядро, разможив и оторвав кисть левой руки, раздробило также и ногу около паха... Не только товарищи его по траншее, но и сам он видел и чувствовал, что этой раны пережить ему уже не суждено.

Однако потерял ли он при этом присущее ему спокойствие? Нет. Когда положили его на но-

силки, чтобы нести на перевязочный пункт на Корабельную, он нахмурился только потому, что за носилки взялось четверо.

— Я ведь легкий,— сказал он,— да еще и крови сколько из меня вышло... Так неужто ж вдвоем меня не донесут, а? Если с каждым, кого чугулька зацепит, по четыре человека уходить станет, то этак и Камчатку некому будет стеречь!

А когда остались только двое, он просил их пронести его вдоль траншеи проститься с товарищами.

— Прощайте, братцы!— обратился он к своим одноклассникам.— Отстаивайте нашу Камчатку,— но отнюдь не сдавайте, а то из могилы своей приду, стыдить вас стану!.. Прощайте, братцы, помяните меня грешного!.. Вот умираю уж, а мне ничуть этого не страшно, и вам, братцы, тоже в свой черед не должно быть страшно ни капли умереть за правое дело... Одно только больно, что в своей траншее смерть застигла, а не там,— показал он правой рукой на французские батареи.

НА БАСТИОНАХ

Не всякому человеку дано в необходимый для этого момент отрешиться от себя самого сразу, без колебания, а в Севастополе, с приближением к нему неприятельских траншей и батарей, вся жизнь складывалась из одних только этих необходимых моментов.

Потеряла ли цену жизнь каждого из защитников крепости? Нет, совершенно напротив, она приобрела огромную цену, почему все и стреми-

лись если и потерять ее, то только там, на оборонительной линии, где стояли они лицом к лицу с напавшей на Россию Европой.

В этом стремлении не было ни позы, ни красивой фразы,— просто таков был воздух Севастополя, которым дышали все.

Есть известный прием цирковых борцов — зажим головы противника рукою; конечно, рука для этого приема должна быть большой силы, так как шея борцов воловьи.

Приплывшая на несчетных кораблях к берегам Крыма Европа не пошла в глубь страны, как неосторожно сделал это Наполеон I; она прибегла именно к этому приему — зажиму головы, признав, и вполне основательно, конечно, одною из голов многоглавой России припавший к Черному морю Севастополь, стража всего юга страны.

Цирковые борцы знают, что зажим головы,— бра руле,— очень серьезный прием. Все тело борца, попавшего на этот прием, напрягается, чтобы вырваться из дюжего объятия, к месту захвата идут силы ближайших, близких и дальних мышц. Так к Севастополю шли дивизии действующей армии, шли резервные батальоны, начало двигаться ополчение, а также направлялись туда и боевые припасы, скопленные для защиты юго-западных границ в таких крепостях, как Измаил, Бендеры и другие.

И защитники Севастополя, только ли нутром, или отдавая себе в этом полный отчет, чувствовали всю важность того, что они призваны были делать, и знаменитое нахимовское: «Мы все здесь останемся,— не беспокойтесь!» — звучало ничуть не зловеще и не только никого не пугало,— напротив, создавало общий переплеск жизни, необходимый там, где ты не знаешь, суж-

дено ли тебе дожить до вечера, или в обед уже станешь ты трупом.

Этот переплеск, избыток жизни притекал к каждому извне, от общей напряженности и бодрости кругом. Уставали смертельно, но зато и спали мертвецки, а к канонаде привыкли так, что она не будила,— разве уж начнется вдруг какой-нибудь необычайной силы, так что подбросит на месте и встряхнет во всех суставах...

После штурма 6/18 июня союзники решили придвигаться к оборонительной линии Севастополя хотя и медленно, но более расчетливо, не по земле, а в земле; но эта замедленная поступь врагов дала возможность и защитникам крепости поглубже и попрочнее вкопаться в землю. И в июле полуразрушенный каменный город почти опустел, а опоясавший его земляной почти что расширился, вырос, окреп. Каждый большой бастион стал представлять буквально лабиринт, в котором свежий человек разобраться ни за что бы не мог. Длинные запутанные цепи блиндажей, пороховых погребов, соединительных траншей во всех направлениях перекрестили площадки бастионов.

Чтобы представить достаточное сопротивление разрывным снарядам тринадцатидюймовых орудий, блиндажи имели накатник из толстых бревен, уложенных в три ряда и покрытых двухметровым слоем старательно утрамбованной земли. В таких блиндажах, в офицерских отделениях, стены обшивались досками, доски же обшивались парусиной или клеивались обоями. Этим особенно щеголяли блиндажи третьего бастиона; но зато на шестом бастионе в одном из блиндажей стояло фортепиано.

Шестой бастион был музыкальный: там часто давались концерты, причем скрипачи и кларнети-

сты-офицеры приходили с соседних пятого и четвертого бастиона. Был и один флейтист, нежно влюбленный в свой меланхолический инструмент.

Но большей частью в блиндажах распивали бесконечный чай, для чего то и дело ставились денщиками у дверей самовары; играли в карты и шахматы, пели хором песни; наконец, прибегали иногда и к «склянкам»: этим морским термином пехотинцы и артиллеристы называли бутылки вина и, выходя ночью из разных блиндажей подышать свежим воздухом, осведомлялись друг у друга:

— А что, у вас какая теперь склянка?

Вопрос этот относился совсем не ко времени; время ночью измерялось не часами, а только возможностями штурма, так как повторения штурма, притом внезапного, ждали в июле каждую ночь, и ночью обыкновенно никто не ложился спать.

Мало того, что секреты и цепи стрелков впереди бастионов служили им глазами и ушами,—прикрытия из солдат-пехотинцев тоже простаивали ночи напролет на банкетках, артиллеристы же дежурили около своих орудий, заряженных картечью.

Блиндажи для солдат, конечно, не имели фортелиано, и стены их не оклеивались обоями; это были обширные подземные казармы, куда проникало мало дневного света сквозь узенькие отверстия в дверях и в стенке, но еще меньше, пожалуй, свежего воздуха. Однако днем отсыпалось в этих казармах по несколько сот человек в каждой, как бы ни терзали их несметные мухи и другие более мелкие насекомые.

От мух спасались камуфлетами: насыпали дорожки пороху и подносили к дорожкам заж-

женные лучинки; происходили взрывы, и мухи дохли во множестве, но через несколько часов блиндажи были полны новых мух, налетавших снаружи в отверстия, как бы узки и слепы ни казались они солдатам.

Спать полагалось только до обеда, а после обеда начинались работы по починке амбразур и платформ, пострадавших при перестрелке, по замене разбитых фашинов новыми, по прокладке новых соединительных траншей... Если же не находилось таких неотложных работ, солдаты, расположась за прикрытием здесь и там, чинили сапоги, штопали дыры рубах и шаровар или безмятежно курили трубки.

Безмятежность матросов и солдат на бастионах было первое, что бросалось в глаза каждому новичку, по делу или из любопытства заходившему на оборонительную линию. Конечно, такими любопытствующими могли быть только молодые офицеры, только что переведенные в Севастополь или приехавшие из Петербурга фельдъегерями.

Бравидуя храбростью, идет такой необстрелянный вдоль банкета, а матрос, спокойно сидящий около орудия, скажет ему:

— Здесь ходить не полагается, ваше благородие.

— Почему не полагается?— удивится офицерик.

— Да вот пульки-с,— кивает матрос на веревочный щит амбразуры, в который действительно одна за другой стучат пули.

— Однако ты-то сидишь себе и ничего,— заметит приезжий.

— Да ведь мы-то здешние,— спокойно ответит матрос.

Большой бумажный змей с трещотками был

склеен на четвертом бастионе; приправили ему мочальный хвост, достали бечевы, выбрали слегка ветреный день и запустили; змей высоко в воздухе затрещал издевательски как раз над французскими траншеями как воплощенный вызов.

Как же было французам не открыть стрельбы по этому змею? И вот змей трещал сверху, а снизу затрещали оживленно выстрелы. Хороших стрелков было достаточно у французов, но даже и пробитый в нескольких местах пулями змей продолжал все-таки парить и взвиваться выше в меру отпускаемой бечевы.

Много выстрелов было дано по этой летучей цели, но как ни был изранен змей, все же удалось его подтянуть к вечеру на свой бастион. Залечили его раны и утром на другой день запустили снова. И вновь оживленнейшая пальба в течение часа, пока, наконец, какой-то случайной пуле не удалось перебить туго натянутую бечеву, и змей, захлебываясь и ныряя, под аплодисменты и крики французов опустился на их линии.

А на редуте Шварца завелись купленные одним из офицеров три курицы и петух, причем петуха, — черного с зеленым отливом, длинношеего, гребень лопухом, — матросы почему-то прозвали Пелисей, не столько, конечно, в честь французского маршала Пелисье, сколько в насмешку над ним.

Пелисей расхаживал по редуту довольно важно, куры же чувствовали себя здесь не так уверенно; впрочем, матросы и солдаты кормили их своим хлебом изобильно. Пелисей пел свое «ку-кареку» чрезвычайно старательно, быть может, стараясь вызвать на то же других петухов, но напрасно: других нигде поблизости не было.

Зато он сам скоро сделался знаменитостью не только на своем редуте, но и во французских траншеях, расположенных близко. Пение голосистого петуха в боевой обстановке способно вызвать множество самых идиллических воспоминаний и представлений.

Пелисей привык к пулям, которые жужжали и пели над ним, привык и к ядрам, которые мог разглядеть в небе. Быть может, они казались ему ястребами, потому что он предостерегающе кричал тогда своим курам, и куры бросались, распутив крылья, к ближайшему орудию, вполне естественно ища у него защиты и вызывая этим веселый и долгий хохот матросов.

Но случилось однажды, разорвалась шагах в десяти от Пелисея большая бомба, и это перевернуло все его петушьи понятия о личной доблести, которой должен он был подавать пример курам. Его точно сдуло вихрем; он закричал совершенно неистово, взлетел на воздух, пролетел сквозь отверстие в амбразуре, не защищенное матом, и свалился в ров.

Это очень развеселило французских стрелков: они захлопали в ладоши. Но вслед за черно-зеленым петухом тем же самым путем, сквозь амбразуру, ринулся в ров один молодой матрос. Как можно было дать пропасть украшению своего редута — Пелисею? И матрос не дал ему пропасть: он поймал его там, во рву, и, держа его в руках, полез снова к той же самой амбразуре.

Французы были так изумлены этой смелостью, что долго потом аплодировали они матросу и кричали «браво!».

А матрос держал Пелисея, отыскивая глазами кур, куда-то забившихся от страха, и даже понять не мог, как ему нужно было поступить иначе, если не броситься через амбразуру в ров за

петухом. Ведь без этого петьки с его гребнем как маков цвет он уже не мог и представить себе свою батарею.

И на большинстве других батарей и редутов завелась тоже своя живность — собаки и собачонки разных мастей и качеств, но одинаково любимые всеми. А по четвертому бастиону разгуливал орел с простреленным крылом; кость у него кое-как срослась, но летать он все-таки не мог, сделался ручным, привык к людям, и хотя еда его была одно только мясо, но и мясом своим, принесенным для борща, охотно делились с ним солдаты, лишь бы иногда между делом подойти к нему, полюбоваться на его бурое плотное перо, на диковинный рост, на крепкий загнутый клюв, на круглые, янтарные, внимательные глаза и сказать ему при этом два-три ласковые слова, а иногда удивиться вслух на себя самих:

— Ведь вот же он, орел этот, несть числа какой вредный для хозяйства!.. Сколько он ягнят-сосунков от маток таскает, не говоря про птицу, а мы к нему чего-й-то никакой злобы не имеем... Отчего же это происходит может?

Однажды вздумалось как-то ни с того ни с сего одному певуну из солдат-охотцев затянуть в окопе в ясный нежаркий день хоровую песню:

— Вни-и-из по ма-а-атушке, братцы, по Во-о-о...— как весь окоп подхватил вдруг согласно, лихо и радостно:

— Во-о-о-олге!

И потом уже пошло неудержимо:

— По-о широко-о-о-о-окому, братцы, раз-до-о-о... Эх, все раз-до-о-о-о-о-олью!

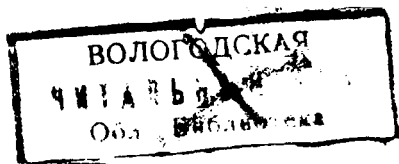
Не было в те времена более общенародной, более русской песни, как эта, в которую вложил

русский человек столько горячей любви и к величавой красавице-кормилице реке, и к необъятным родным просторам, и к вольной воле...

Широкозвучная, полноголосая песня эта лилась, точно прорвавшись в этом месте из самой толщи земли, и допета была до конца, и ни одного выстрела не раздалось во время ее со стороны неприятельских окопов.

Этот импровизованный концерт русских солдат сказал о непобедимости их гораздо больше и гораздо более внятно, чем говорили это каждый день все орудия на всех бастионах.

Народ, который мог так петь в окопах, перед лицом вторгшегося в его землю врага, вполне мог заставить задуматься этого врага, как бы предусмотрительно, как бы услужливо ни снабжали его всем необходимым для успешной борьбы его правительства, располагавшие огромными средствами.



56

Pl. 50 f.

20 коп.

ГОСЛИТИЗДАТ
1941